

ЛЕВ
УСПЕНСКИЙ





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

«...Да, так случилось. В разгар войны, в 1942 году, советский писатель с Ленинградского фронта обратился с письмом к одному прославленному собрату. Письмо затрагивало вопрос, который в те дни представлялся нам вопросом номер два, если под номером первым числить самое войну. Вопрос об открытии союзниками второго фронта. Оно было адресовано: Лондон, Герберту Уэллсу.

Фантастика? Конечно, но более или менее правдоподобная...»

Л.В. Успенский

- [«БРАТСКИ ВАШ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС»](#)



«БРАТСКИ ВАШ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС»

СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧНО

В моих руках библиографический справочник. Издательство «Книга», Москва, 1966 год. На обложке: «Герберт Уэллс».

А на странице 131-й статья, озаглавленная так:

«Уэллс и Лев Успенский».

Как это понимать? «Шекспир и Константин Фофанов», «Гомер и...»

К немалому моему смущению, Лев Успенский — я. Необходимо объясниться, а для этого надо начать очень издалека.

Да, так случилось. В разгар войны, в 1942 году, советский писатель с Ленинградского фронта обратился с письмом к одному прославленному собрату. Письмо затрагивало вопрос, который в те дни представлялся нам вопросом номер два, если под номером первым числить самое войну. Вопрос об открытии союзниками второго фронта. Оно было адресовано: Лондон, Герберту Уэллсу.

Фантастика? Конечно, но более или менее правдоподобная.

Письмо было направлено через Совинформбюро. Шесть месяцев спустя в блокадном Ленинграде советский литератор Успенский получил от английского литератора Уэллса ответ.

Это уже показалось и ему самому и всем его окружавшим фантастикой на пределе.

Ответ имел вид телеграммы на семи страницах писчей бумаги обычного формата. Читать его было нелегко: на каждой строчке написано буквами «комма», «стоп», а то и «стоп-пара», что, оказывается, значит: «точка-абзац». Но за этими знаками препинания бились живые и напряженные мысли, чувствовалась искренняя приязнь и дружба.

Не буду спорить: эти мысли были мыслями человека, но не политика, не социолога. Однако они были мыслями пережитыми, откровенными до предела, выстраданными за долгую жизнь вдумчивого художника.

В статье «Уэллс и Лев Успенский» говорится, будто я получил этот ответ только по окончании войны. Нет, Совинформбюро прислало его копию мне в Ленинград, на Пубалт, в августе того же сорок второго года.

Подобно ракете, эта копия пронеслась перед глазами

удивленного до предела командования. Неделю или две спустя два бравых лейтенанта-штабиста, печатая шаг, вошли в ту комнату опергруппы В. В. Вишневого, где, проездом на фронт, жил я. «Интендант Успенский — вы? Пять минут на сборы! У комфлота четверть часа времени; он требует вас немедленно!»

Когда Кейвора вызвали на прием к Великому Лунарию, он трепетал. Так как же должен трепетать интендант 3-го ранга, когда его вызывают к командующему флотом? «Успенского? К Трибуцу? А что он наделал?»

Часа полтора — и вот это уже было суперфантастикой! — за закрытыми дверями кабинета я гонял чай с Владимиром Филипповичем Трибуцем. Генштабисты и крупные морские начальники почти всегда люди широких горизонтов, по-настоящему образованные. Мы беседовали обо всем: об этой войне и о «Войне миров», об Уэллсе и о Невской Дубровке, о марсианах и о нашем детстве; мы были почти сверстниками. Вот от моего детства мне и приходится сейчас повести речь.

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТУМ

1909 год. Я ношу фуражку с ярко-зеленым околышем: учусь в выборгском восьмиклассном коммерческом училище.

Опять фантастика: странен смутный мир девятисотых годов. Училище выборгское, но находится в Петербурге. Оно восьмиклассное, но работает только пять или шесть классов; старших еще нет. Оно ни с какой стороны не коммерческое, и вот почему.

Под рукой министерства просвещения немыслима никакая прогрессивная школа. Там министром — А. Н. Шварц, ДТС (действительный тайный советник), сенатор, профессор. У Саши Черного есть стихи о нем:

У старца Шварца ключ от ларца,
А в ларце — просвещение,
Но старец Шварец сел на ларец
Без всякого смущения.

Чтобы не лезть в ларец, группа передовых педагогов схитрила. Они сбежали в торговлю и промышленность. И тамошние шварцы — не золото, но торговать и промышленность приходится не на латинском языке! Тамошние — либеральнее.

Это училище задалось целью сделать из нас не «коммерсантов», а людей. Для этого оно применило

всевозможные приемы.

Был и такой: «уроки чтения». Раз в неделю Елена Валентиновна Корш, классная дама первоклассников, на ходу приспособивая текст, читала нам что-нибудь «старшее». Начала она с «Давида Копперфилда»; Диккенс не произвел на меня тогда ни малейшего впечатления. Затем мы прослушали «Джангл-Бук» Киплинга. По гроб жизни я благодарен за это маленькой грустноглазой женщине со смешной брошью в виде пчелы на бархатной блузке.

А потом настал день, которого я не забуду никогда. Е. В. Корш вынула из сумочки желтенький пухлый томик величиной с ладонь: «Универсальная библиотека», издание «Антика». «Дети! Я попрошу почитать вам очень странный роман очень странного писателя. Если будет трудно или скучно, сразу же скажите мне...»

Стояла питерская зима, самые короткие дни. В классе горела керосино-калильная лампа, чудо техники, с «ауэровским» колпачком. На подоконнике желтело чучело тюлененка-белька: до этого был предметный урок — «Как сделан твой ранец?». Все было знакомо, просто, обыденно — как всегда. И вдруг...

«Маленькая обсерватория астронома Огильви. Потайной фонарь бросает свет на пол. Равномерно тикает часовой механизм телескопа. В поле зрения трубы — светлый кружок планеты среди неизмеримого мрака мирового пространства...»

Кто это вспоминает — он или я?

«...В ту ночь поток газа оторвался от далекой планеты. Я сам видел это... Я сказал об этом Огильви, и он занял свое место. Ночь была жаркая; мне захотелось пить. Я побрел к столику, где стоял сифон с содовой водой...»

Даже сахárская жажда не заставила бы рослого толстого мальчишку куда-нибудь побрести ни в тот день, ни во все последующие пятницы. Неделью за неделей, каждую пятницу, он сидел на том же месте в левой колонке парт, рядом с Асей Лушниковой, за Юриком Добкевичем, не отводя глаз от читавшей, шесть дней мечтая о волшебном седьмом дне, когда опять приоткроется *это*.

К весне *это* пришло к концу. Я не мог так просто оторваться от него. Я должен был еще раз, один, без помех, повторить мучительный и чудесный путь; еще раз увидеть, как под тонким

молодым месяцем майский жук перелетает дорогу над Рассказчиком и Викарием, точно в тот миг, как «ближний марсианин высоко поднял свою тубу и выстрелил с грохотом, от которого содрогнулась земля»... И как пылал под действием теплового луча Шеппертон. И как героически погиб миноносец «Громящий» («Тандерер»; это в традициях флота Ее Величества, а не «Дитя Грома» нынешних переводов!)...

Я жаждал вторично пройти в страхе по мертвым улицам Лондона и услышать душу выматывающее «Улля-Улля!» последнего оставшегося в живых чудища. И, задохнувшись, взбежать на Примроз-хилл, и оттуда в лучах восходящего солнца увидеть станцию Чок-Фарм, и Килбери, и Хемпстед, и башни Хрустального Дворца — «с сердцем, разрывающимся от великого счастья *избавления...*».

Педагоги, даже лучшие, — странные люди. Я умолил Е. В. Корш дать мне на неделю маленький желтый томик, ковчег небывалого. Она вручила мне его, аккуратно перевязав красной ниточкой несколько страничек в конце. «Я прошу тебя, Левушка, не читать этого. Там говорится о взгослых вещах, котогых ты еще не поймешь...»

С великим трудом, на просвет, держа книжку над головой, по-всякому, я исследовал странички, которых я почему-то «не пойму». Странное дело: я все понял.

Там говорилось, что марсиане размножались бесполом путем, посредством деления. Один детеныш-почка возник на теле родителя даже во время межпланетного пути.

Я пришел в недоумение.

В те годы я был страстным биологом. Книжка Вагнера о простейших не сходила с моего стола. Амебы и вольвоксы были моими ближайшими знакомыми. Все размножались точно так же — почкованием, делением; о других, более совершенных способах размножения я имел весьма смутное представление.

Я вернул книжку учительнице; она не заподозрила моего вероломства.

Весной того года — года перелета Блерио через Ла-Манш — я добыл «Машину времени» в одном переплете с чудесной «Волшебной лавкой». Потом «Невидимку», потом «Войну в воздухе».

Когда никто не видел, я лил тайные слезы: ведь «маленькое тельце Уины осталось там, в лесу...». Ведь медленно, начиная с красноватой радужины, как фотонегатив «проявлялось» обнаженное тело альбиноса Гриффина, лежащего мертвым на свирепой земле собственнической Англии.

Как пришибленный, целыми часами вглядывался я в

трагически-медленный закат огромного тускло-красного солнца над Последним Морем Земли. И сейчас, как самое страшное видение мира, мерещится мне в тяжелых волнах этого моря «нечто круглое, с футбольный мяч или чуть побольше, со свисающими щупальцами, передвигающееся резкими толчками» — последняя ставка жизни, проигранной уэллсовским человечеством...

ДАНТЕ И ВЕРГИЛИЙ

Как передать всю силу воздействия, оказанного им на мое формирование как человека; наверное — не на одно мое?

Порою я думаю: в Аду двух мировых войн, в Чистилище великих социальных битв нашего века, в двусмысленном Раю его научного и технического прогресса, иной раз напоминающего катастрофу, многие из нас, тихих гимназистиков и «коммерсантиков» начала столетия, задохнулись бы, растерялись, сошли бы с рельсов, если бы не этот поводырь по непредставимому.

Нет, конечно, — он не стал для нас ни вероучителем, ни глашатаем истины; совсем не то! Но кто его знает, как пережили бы юноши девятисотых годов кошмар первых газовых атак под Ипром или «на Бзуре и Равке», если бы у них не было предупреждения — мрачных конусов клубящегося «черного дыма» там, в «Борьбе миров», над дорогой из Санбери в Голлифорд.

Как смог бы мой рядовой человеческий мозг, не разрушившись, вместить Эйнштейнов парадокс времени, если бы Путешественник по времени много лет назад не «взял Психолога за локоть и не нажал бы его пальцем маленький рычажок модели»...

«...Машинка закачалась, стала неясной. На миг она представилась нам тенью, вихорьком поблескивающего хрусталя и слоновой кости, и затем — исчезла, пропала... Филби пробормотал проклятие...»

А Путешественник?

«Встав, он достал с камина жестянку с табаком и принялся набивать трубку...»

Точно такая же жестянка «Кепстена» стояла на карнизе кафельной печки в кабинете моего отца; такая же трубка лежала на его столе.

И этой обыденностью трубок и жестянок он и впечатывал в наши души всю непредставимость своих четырехмерных неистовств.

Он не объяснял нам мир, он приуговлял нас к его невообразимости. Его Кейворы и Гриффины расчищали далеко впереди путь в наше сознание самым сумасшедшим гипотезам Планка и Бора, Дирака и Гейзенберга.

Его Спящий уже в десятых годах заставил нас сделать выбор: за «людей в черном и синем», против Острога и его цветных карателей, распевających по пути к месту бойни «воинственные песни своего дикого предка Кипплинга». Его алой и морлоки, с силой, доступной только образу, раскрыли нам бездну, зияющую в конце этого пути человечества, и Доктор Моро предупредил о том, что будет происходить в отлично оборудованных медицинских «ревирах» Бухенвальда и Дахау.

Что спорить: о том же, во всеоружии точных данных науки об обществе, говорили нам иные, во сто раз более авторитетные, Учителя. Но они обращались прежде всего к нашему Разуму, а он взывал к Чувству. Мы видели в нем не ученого философа и социолога (мы рано разгадали в нем наивного социолога и слабого философа); он приходил к нам как Художник. Именно поэтому он и смог стать Вергилием для многих смущенных дантиков того огромного Ада, который назывался «началом двадцатого века».

Я ВИЖУ ЕГО

Был январь девятьсот четырнадцатого. Мы с Димой Коломийцевым шли в Городскую думу за билетами на какой-то концерт или лекцию. Возле мехового магазина Мертенса... нет, скорее у магазина дорогого белья (Артюр), Невский, 23, чего-то ожидала дюжина любопытных. Чуть поодаль ворковали два «мотора»; слово «автомобиль» было еще редким. Люди, вытягивая шеи, смотрели на дверь. Остановились и мы.

— Да графиня эта, Брасова! — сердито буркнул не нам, соседу, хмурый енот в запотевшем пенсне. — Ну, морганатическая! Жена Михаила... Да уж до вечера не будет в лавке сидеть, и...

Он не договорил. Из магазина — несколько ступенек приступочкой; там и сейчас продают мужские рубашки — выпорхнула прелестная молодая женщина в маленькой шляпке, в вуалетке, поднятой на ее мех и еще чуть влажной от редкого снега, в чудовищно дорогой и нарядной шиншилловой жакетке.

За ней — одна рука на палаше, в другой маленький пакетик — поспешал юный гвардейский офицер, корнет. Второй пакет, куда больший, на отлете, как святые дары, нес кланяющийся, улыбающийся то ли хозяин, то ли старший приказчик. Ах, как он был художественно упакован, этот августейший пакетик!

Они только сошли на панель, дверь магазина, легонько присвистнув (пневматика!), открылась вторично, и я забыл про всех морганатических... Из двери вышел плотный, крепкий человек, конечно иностранец, нисколько не аристократ. Несомненный интеллеktуал-плебей, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное свежее лицо было довольно румяным: потомственный крикетист еще не успел подвднуть на злом солнце неимоверных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились, быстрые глаза, веселые и зоркие, оглядели сразу все кругом... Как я мог не узнать его? Я видел уже столько его портретов!

За его плечами показался долговязый юнец, тоже иностранец, потом двое или трое наших. Он задержался на верхней ступеньке и потянул в себя крепкий морозный воздух пресловутой «рашн уинте» — русской зимы. С видимым удовольствием он посмотрел на лихачей — «Па-ади-берегись!», снег из-под копыт, фонарики в оглоблях, — летящих направо к Казанскому и налево — к Мойке, на резкий и внезапный солнечный свет из-за летучих облаков и, чему-то радостно засмеявшись, бросил несколько английских слов своим спутникам. Засмеялись и они: кто же знал, что только шесть месяцев осталось до роковой грани? Потом все сели «в мотор» и уехали. И больше я его не видел никогда.

Во второй его приезд, осенью двадцатого, я воевал на польско-балаховичском фронте, в Полесье. До нас не дошли известия о его встрече с Лениным: нам было не до уэллсов.

Четырнадцать лет спустя он снова появился в Москве. Было похоже — фантазер из Истен-Глиба едет посмотреть, что выросло из замыслов того, кого он звучно и благожелательно — но как неверно! — окрестил «Мечтателем из Кремля». Ну что же, он увидел: то, что ему казалось грезами, превратилось в величайшие в мировой истории дела.

Он имел мужественную честность признать себя неправым; нелегкое решение для того, кого весь мир привык именовать первым своим прозорливцем!

С четырнадцатого года он прошел долгий и нелегкий путь. Он не только писал книги, но стал активным болельщиком за будущее человечества. Как пропагандист он был вовлечен в участие в первой мировой войне. Теперь все с большей настороженностью вглядывался он в Грядущее — не столь

далекое, как то, куда он забросил Путешественника во времени, но не менее тревожное.

Его исповеди и призывы выходили в свет неустанно, и, хотя не все они и не так быстро, как хотелось бы, достигали нас, мы видели ясно: почва ускользает из-под ног мудрого Поводыря по Аду. Виргилий останавливается и неуверенно нащупывает: куда же идти?

Реальный мир катится к катастрофе по предсказанным им рельсам. Но мир этот решительно отказывался внять совету и перевести стрелки. Он не желал слушать фабианских проектов переустройства. Он смеялся над пророчествами английской Кассандры.

Что ни день яснее сквозь благообразные черты великого романиста проступал растерянный облик созданного его же воображением мистера Барнстэйпла — прекраснородного и глубоко подавленного редактора никем не читаемого, еле сводящего концы с концами журнальчика «Либерал», умницы, на которого смотрят свысока даже собственные сыновья-футболисты.

Прозорливец явно терял ясность взглядов, метался и мучился, потеряв надежду, что мир может быть спасен извне, бескровно и бесслезно, то ли волшебным газом чудотворной кометы, то ли бациллами, способными, не спрашиваясь людей, уничтожить грозящую им опасность. И вот чаще и чаще взгляд Проводника стал обращаться к Компасу, имя которого Коммунизм.

К сороковым годам можно было сказать твердо: там, в Англии, у нас есть друг, нерешительный, слишком мягкосердечный, но верный и искренний до глубины души. Его имя — Уэллс.

МОЙ СОАВТОР — ФРАНЧЕСКА ГААЛЬ

Справедливость превыше всего: не вмешайся она, мое письмо ему не было бы написано.

В отличной статье, с упоминания о которой я начал, говорится: писатель Успенский написал его весной сорок второго года, во фронтовой землянке, куда как-то попали два романа Уэллса — «Война миров» и «Люди как боги».

Тут не все точно. Мне не случалось на фронте жить в землянках. Ни одной книги Уэллса у меня не было; не было их — не знаю уж почему — и в богатых библиотеках балтийских фортов, в десятке километров от меня.

Я жил в описанном Н. К. Чуковским большим кирпичном

«офицерском» доме в Лебяжьем, в доме пустом, как Бет-Пак-Дала, и холодном, как Антарктида. Жил и работал — нет, не «как зверь», а как военные корреспонденты в те годы.

Трудно вспоминаются эти месяцы — конец осени, начало зимы сорок первого года. Сводки мрачнее ночи. Враг все ближе к Москве. Сейчас не каждый поверит, но было так: мы жили только глубокой, почти иррациональной уверенностью в грядущей победе.

Мы знали: она не слетит с неба сама — надо работать, надо драться за нее. И вот мы работали. Времени у меня не было ни минуты: я писал, но — какие тут послания на Запад! Изо дня в день заметки для газеты района, для ленинградских, для флотских газет... Нет радиста — сам лови ночью сводку. Ослабел типографский рабочий — крути плоскую машину. Не прислали клише из города — отрывай кусок линолеума от пола и режь сам. Времени не было.

И тут пришла на помощь она, Франческа.

В ноябре — декабре над Финским заливом темнеет рано и глухо. В крошечной зимней тьме по поселку всюду вырубали свет. Всюду, кроме матросского клуба. Там начинались лекции, доклады, танцы и главное — кино.

Перед вами — альтернатива: сидеть, волком воя, в чернильном мраке три или четыре часа или пойти в клуб. Кто как, а я шел в клуб, хотя мне, сорокалетнему командиру, не по мыслям, не по чину, не по возрасту было фокстротировать с юными краснофлотками. Я сажился в зале в кресло и читал до фильма.

До фильма! Обстрелы, двойная блокада, ледостав — мы были нацело отрезаны от сокровищницы кинопроката. «Ораниенбаумская республика» жила фильмами, блокированными с нею с начала сентября. К этому времени сохранился, по-видимому, один: «Маленькая мама».

Первые пять раз я смотрел Франческу Гааль миролюбиво. Полюбовавшись на нее в двадцатый или двадцать седьмой раз, я изнемог. Почувствовал себя морально надломленным. Люди железной воли — работники политотдела, редактор Женя Кириллов, секретарь редакции «Боевого залпа» Жора Можанет мужествовали сильно. Они стояли насмерть. Они уговаривали меня: «Лев Васильевич, идемте!» Я не мог.

Я оставался в редакционной тьме, ложился на черный топчан в черном мраке, и — что было мне еще доступно? — думал, думал, думал...

Вот в этой-то пахучей типографской черноте, в шуме высоченных сосен над крышей, в холодном свете звезд, если

выйдешь наружу, а еще в более холодном — мертвенном — мерцании панических фашистских ракет за фронтом немцы и привиделись мне марсианами.

«Маленькая мама» вышла замуж в тридцатый или сороковой раз. Лампочка надо мной обозначилась тускло-рдяным волоском, вспыхнула, как «новая звезда», пригласла и пошла мигать и помаргивать на экономическом «режиме имени инженер-капитана Баширова»: он ведал нашей тощей энергетикой.

Я встал, нарезал газетной бумаги, заложил первый листок в машинку и начал:

«Итак, глубокоуважаемый мистер Уэллс, катастрофа, которую вы предсказывали полстолетия назад, разразилась: марсиане вторглись в наш мир...»

Книги? Не нужны мне были книги: седоголовый интендант на лебяжинском «пятачке» был когда-то тем подростком, которому Елена Валентиновна Корш обрушила на голову великую тяжесть уэллсовских фантазий. Образы Уэллса — живые, движущиеся, дышащие — все время жили у него в памяти. Он мог цитировать без книг.

ИЗ ЛЕБЯЖЬЕГО В ЛОНДОН

Я писал его не от себя — ото всех тех, рядом с кем мне выпало на долю стоять на Ораниенбаумском «пятачке». Я не могу повторить (или — хуже — изложить!) то, что вырвалось тогда из самого сердца. Но, перечитывая сейчас то, что было написано тогда, мне не хочется изменить в нем ни одной строчки.

Я писал ему, и мир рисовался мне в его образах. Я думал о предательстве западных политиканов и вспоминал речи лентяя и бездельника — но далеко не дурака! — артиллериста из «Борьбы миров»:

«Они превратят нас в скот, рабочий и убойный. И станут откармливать нас, чтобы пожирать. И найдутся ведь такие людишки, которые станут еще лебезить перед ними, чтобы добиться лучшего места у кормушки...»

«К стыду человечества, Вы и в этом правы, мистер Уэллс: в Виши, в Осло, в других местах мира — они нашлись» — так писал я.

Я думал о разгромленном Лондоне и видел «птицелицега» немца, офицера с дирижабля из «Войны в воздухе», того, что

таскался со своими легчайшими несессерами, уступая место работяге Смоллуэйсу, которого приняли за изобретателя Беттериджа, Смоллуэйсу, потом встретившемуся с ним в последнем бою над Ниагарой.

«Не награжден ли теперь он Железным крестом за бомбежку Ковентри или Саутгемптона?!» — спрашивал я.

«Разве до Ваших ушей не доносится сквозь грохот взрывов жалобное блеяние, мистер Уэллс? Уж не подает ли голос из будущего тощая коза этого самого Берта Смоллуэйса, коза возвратившегося варварства, коза великого запустенья?»

Тот, кто читал «Войну в воздухе», помнит эту козу: ее невозможно забыть. Тех марсиан, вымышленных, бросил на человечество космос; за их приход не отвечал никто. Коричневых гадин, с которыми мы сражались теперь, выпестовала, выносила у груди своей западная цивилизация. Мы, люди, были ответственны за их появление: наш прямой долг был — уничтожить их. Чтобы призвать к исполнению этого тяжкого кровавого долга Англию, и стучала в Лебязьем моя колченогая машинка над замерзшим, усеянным ледовыми дотами Финским заливом. Но я знал, что добрая старая Англия — не едина.

Да, там обитали простодушные и отважные Берты Смоллуэйсы. Когда их припрет к стенке, они знали, что надо делать, как и там, на уэллсовом Козьем острове.

«Спустив на землю подобранного в руинах котенка, он вскинул винтовку с кислородным патроном и произвольно спустил курок.

Из груди принца Карла-Альберта вырвался ослепительный столб пламени... Что-то горячее и мокрое ударило Берту в лицо... Сквозь смерч слепающего дыма он увидел, как падают на землю руки, ноги и растерзанное туловище...»

Я знал: есть в Англии такие смиренные Берты. Но ведь там живут и другие люди — и в романах Уэллса, и в Англии. Там катался в роскошной серой машине промышленный магнат Барралонг со своей любовницей Гритой Грей, из романа «Люди как боги», и его приспешник — министр Руперт Кэтскилл, и философ Беркли с очаровательной леди Стеллой, и самоуверенные лакеи, шоферы Ридли и Пенк... Попав уэллсовским чудом в мир «людей-богов», в мир коммунизма, они объявили ему идиотскую и кровавую войну. Бессильные, они рвались уничтожить светлый мир, превратить в колонию, населить ханжами, гангстерами и проститутками, застроить биржами, борделями, полпивными, загадить и замусорить... Они

ненавидели свет ядоносной пресмыкающейся ненавистью... А сколько таких в реальной Англии?!

Между теми и другими стоял мистер Барнстэйпл — помощник редактора в «Либерале», этом «рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли» Англии. Он тоже попал в страну людей-богов. Он заранее, в мечтах, любил эту страну, но и опасался ее... Мистер Барнстэйпл, воплощение английской порядочности; куколка, так причудливо напоминающая мистера Уэллса; ласковая, но и ироничная самопародия, может быть совсем непреднамеренная.

Оказавшись среди людей-богов, он нашел в себе силы стать на их сторону и отречься от «своих», стать на сторону Утопии. Решительно, до конца, до самоотречения.

Мне было нечего терять: я и начал с той анатомии Англии, которую нашел в творчестве самого Уэллса.

«Мы знаем, — писал я, — тысячи тысяч добрых, умных, безукоризненно честных Барнстэйплов двадцать четыре года смотрят со своего острова на Восток, на ту страну, где живем мы, как на мир, населенный привлекательными и опасными, потому что не до конца понятными, „людьми как боги“... Они защищали нас от нападок шиберов и джингоистов, как Ваш Барнстэйпл у „Карантинного утеса“ Утопии. Но им все время казалось: наши пути никогда не сойдутся.

А вот они сошлись, дорогой мистер Уэллс (простите, я чуть было не написал, почтительно и с великой приязнью, „дорогой мистер Барнстэйпл“!), и теперь предстоит решить, как же поступить целой стране добрых, прямодушных, прекраснотушных Барнстэйплов перед лицом общей трагедии? Позвольте же через Ваше посредство обратиться к ним от нас, в надежде, может быть несколько опрометчивой, помочь нашему общему делу...»

ОНИ И МЫ

В те дни я жил образами Уэллса, но ведь не только ими. В те месяцы все мы, люди фронта, особенно точно и живо ощутили себя в почетном ряду русских, всех русских настоящего и прошлого: и латников Куликова поля, и гренадеров Багратионовых флешей, и солдат Танненберга и Сольдау. Блоковские скифы стучали в наши души:

«Когда б не мы, не стало б и следа от ваших
Пестумов, быть может...»

Эти Пестумы Европы, увитые розами Возрождения, звенящие терцинами Данте и сонетами Петрарки, снова попали под угрозу, страшнейшую из всех. И сознание высокой «должности» народа нашего, столько раз «державшего щит» между варварством и цивилизацией, столько раз проливавшего кровь лучших сынов своих, чтобы Чосер мог спокойно писать «Кентерберийские рассказы», а Эразм — «Похвалу глупости», пока ханские баскаки собирали дань с наших прадедов.

Все родственней и дороже становилась нам великая культура, заложенная Грецией и Римом. Сотни лет мы держали ее на плечах, как Атлант свод небесный. Мы строили ее на равных правах, — мы с нашим «Словом о полку», с нашим Андреем Рублевым, с нашим Толстым и Менделеевым, Ломоносовым и Ковалевскими, с нашими двумя Софиями и Василием Блаженным. Мы знали каждый штрих ее, от альфы — античности до омеги — двадцатого века. И снова — в который раз! — мы поднялись на ее защиту. А «они», люди Запада, так же ли, с той же ли вековой приязнью любили они нас, так же ли знали нас, так же ли готовы были помочь нам в беде, как мы им?

Я напоминал ему то, что он должен был знать и сам, — нашу историю, предмет нашей законной гордости и славы. То время, когда князь Ярослав опутал весь Запад паутиной брачных связей, нежной прелестью дочерей Руси. Когда одна Ярославна стала Анной-региной, супругой короля Франции, другая — женой Гаральда Норвежского, когда Гаральд искал в Киеве защиты и приюта, а внучка Ярослава Евпраксия, побывав супругой императора Германии и изгнанницей в Каноссе, став героиней западных саг и легенд, вернулась в вишневые сады Киева, чтобы лечь тут в русскую землю.

И то время, когда под нашим прикрытием распускались в Италии сады треченто и кватроченто, когда мыслители мыслили, ученые испытывали естество потому, что на Востоке русские защищали их покой в борьбе с Азией.

И начало XIX века, нашу титаническую борьбу с последним цезарем. И Марну, выигранную потому, что пролилась наша кровь среди сосновых перелесков и болот Пруссии. Я смело говорил ему о *нашем*, потому что все время передо мной стояло все созданное *ими*.

Звучит слово «Англия», и тотчас оно раскрывается перед нами в образах. Мы *знаем* ее лиловые вересковые поляны: мы бродили по ним с Чарлзом Дарвином в поисках глубинных тайн природы; потом Кейвор, смешно жужжа, открывал над ними секрет своего кейворита. Потом Невидимка встретился на них с мистером Томасом Марвелом. Нам ведомы переулки ее

вымороченных городков, заваленные первым снегом: следы Гуинплена-ребенка пересекаются там со следами того же Гриффина, загнанного, окровавленного, озлобленного Искателя. Вот забавный полустанок среди газонов и живых изгородей юга; может быть, его имя «Фремлингем-Адмирал» обозначено Кипплингом на вывеске, под которой пчелы жужжат над цветами дрока, а возможно, на его платформу вышел из вагона, растерянно держа в руке сияющий плод с дерева познания, самый юный и самый жалкий из барнстэпликов Герберта Уэллса.

Да разве только Англия?! А прелый запах золотой листвы в лесах Адирондака, сбереженный для нас Сетоном-Томпсоном? А маслянистая вода Сены у набережной Букинистов или возле Гренульер, завещанная нашей памяти Анатолем Франсом, Мопассаном, Ренуаром? И синие холмы над Верхним озером, какими с берегов Мичигана видел их рыболов Хемингуэй... Разве все это — не наше, не дорого нам почти так же, как «Невы державное течение» или ночной костер на зеленой траве Бежина луга, там, «во глубине России»?

Мы помним наизусть и строфы сонетов Шекспира, и канцоны Мистраля, и «Песнь о Ролланде», и баллады о Робине Гуде. Знаете ли вы так нашу «Задонщину», нашего Пушкина, нашего Лермонтова, как мы знаем создания ваших гениев?

«Сколько раз в детстве и юности, — писал я ему, — каждый из нас по планам ваших городов разыскивал какую-нибудь забвенную Катлер-стрит или переулок Кота-Рыболова, известные не каждому лондонцу, не всякому парижанину. Сколько раз мы брели с чартистами по пыльным дорогам вслед за Барнеби Раджем, сопровождали Корсиканца от Гренобля до сердца Франции вместе со Стендалем, спускались по Миссисипи на плоту Гека Финна, шли у стремени Алонзо Киханы по равнинам Ламанчи, выходили с Лермонтом-певцом в древние леса, распростертые „от Кедденхеда до Торвудли“, плыли в одной лодке с телеграфистом Бенони по ихерам Финмаркена? Разве не для нас написан „Замок Норам“ вашего Тернера, нежные пленэры барбизонцев, тревожные небеса Гоббеми?

Мы плавали, бродили, странствовали среди ваших ландшафтов то с Тилем Уленишпигелем, то с Жан-Жаком Руссо; мы садились в Ярмуте на корабль с Робинзоном Крузо и подстерегали рыжих сфексов среди песков горячего Прованса с Фабром, волшебником и мудрым пасечником Природы. Мы вдыхали воздух вашего прошлого и вашего настоящего. Мы вглядывались в смутную дымку вашего будущего. Все созданное вами стало нашим, ибо, по глубокому и крайнему разумению русского человека,

все, что создано людьми, принадлежит Человечеству.

Вот почему в июне сорокового года мы оплакивали Лондон, как если бы немцы бомбили Москву. Вот почему год спустя мы почувствовали с удовлетворением, что сражаемся в великой битве за Грядущее в одном ряду с вами, и стали, как свойственно русским, насмерть на наших общих рубежах.

А теперь настал срок воззвать к вам: готовы ли вы к подвигу? Понимаете ли вы, Барнстэйплы и Смоллуэйсы, что настали сроки, когда за жизнь придется платить не нефтью, не золотом, не биржевыми чеками, а кровью; когда вся ненависть мира должна сосредоточиться на „марсианах“, засевших в ямах Берлина и Берхтесгадена, но в то же время и на ваших собственных полипах из „Министерства околичностей“, сегодня (сегодня, мистер Уэллс!), как и во времена Диккенса, продолжающих размышлять, „как бы не сделать этого“.

Узнайте нас, как мы вас знаем, и вступайте на наш страдный, тяжкий, но победоносный путь, локоть к локтю, безоговорочно, как братья!»

Вот этот десяток пожелтевших листков той газетной бумаги, на которой был написан черновик письма, — он передо мной. Письмо кончалось так:

«Я прервал изложение моих мыслей, дорогой мистер Уэллс, потому что прозвучал сигнал тревоги. Зенитки открыли стрельбу. Два марсианина на узких крыльях маневрируют над заливом, уклоняясь от разрывов... На юге гремит канонада. На железной дороге дымит бронепоезд. Мы боремся и победим. А вы?

Есть две возможности. Или, раздавив ваших алоев и полипов, вы, как Смоллуэйс, схватив „кислородное ружье“, броситесь в бой рядом с нами. Или, подобно мистеру Моррису из вашего „Грядущего“ (его имя изящно выговаривалось „Мьюррэс“, помните?), „надев на лысеющую голову модный головной убор с присосками, напоминающими гребень казуара, предпочтете вызвать телефонным звонком — дабы не страдать излишне, дабы „не сделать этого“ — Агента Треста Легкой Смерти...“

Что ж, вызывайте. Но предупреждаем вас: на этот раз смерть не окажется легкой!

Нет, я верю, что будет не так! Вы уже кинулись в один бурун с нами. Мы умеем плавать. Опирайтесь на наше плечо, но не цепляйтесь судорожно за спасающего. Гребите вместе с нами к берегу: с каждым взмахом он ближе. Готовьтесь отдать всё, и тогда вы всё сохраните. Будьте готовы разить, а не только подписывать чеки. И тогда — час настанет.

Тогда высоко над окровавленной Европой стаи ворон полетят терзать вялые щупальца последних марсиан. Тогда деловитые саперы начнут подрывать уже не страшные мертвые цилиндры. Тогда еще раз разнесется над старым материком отчаянное „Улля-улля!“ погибающего среди всечеловеческой радости чудища. И все мы — вы и мы — скажем в один голос и с равным правом: „Человечество и человечность спасены нами!“

Но чтобы так случилось — надо спешить».

* * *

Ярким апрельским днем я принес конверт с письмом на нашу полевую почту. Техник-интендант, сидевший там, вчитался в адрес: «Совинформбюро. Т. Лозовскому. Город Куйбышев». Он посмотрел на меня: «Ого! Далековато хватили, товарищ начальник!»

Если бы он знал, куда я на самом деле «хватил»!

* * *

Летом того года командование наградило меня великой наградой — месячной поездкой в тыл, «в эвакуацию», на Урал, к семье. Вернулся я в августе. Все, все было фантастикой. Утром — Москва, гостиница «Якорь», метро, беготня по издательствам. Потом — три или четыре часа полета на бреющем, волны Ладоги под самым брюхом самолета, потом куда более трудная задача — добраться от аэродрома до Петроградской стороны, и, наконец, в тиканье метронома, в глухих раскатах обстрела, улицы Попова, Пубалт. Другой мир.

В большой комнате писательского общежития к вечеру никого не было. За ширмочкой в углу похрапывал лейб-шофер Вишневого Женя Смирнов. А на моем столе, прижатая осколком зенитного снаряда, лежала длинейшая, на семи листах писчей бумаги, телеграмма. Телеграмма с латинским шрифтом. Откуда? Что?

Я торопливо «затемнился», зажег свет.

I. 0020 17 K C BACI.

ELT — LEV USPENSKY

London june 1942 dear kommander Uspensky comrade
literature and in our fight from ample life for all men...

Скажу честно, сердце мое дрогнуло. Нет, не оттого, что —

Уэллс, просто потому, что бумажная пачка эта как бы материально воплотила в себе много нематериального. Мое письмо дошло — туда, через целый океан смерти и хаоса. И донесло до великого англичанина слово русского человека и солдата. И этот первый и лучший из Бранстэйплов Англии не только прочел мои слова, он продумал их, он отвечает. На столе лежал какой-то клочок дружбы народов, интернациональной общности литераторов, что-то очень большое и дорогое...

Я быстро перелистал страницы. Да, он:

And so I subscribe myself most fraternally yours, for the
all human culminating World Revolution

Herbert George Wells.

Я не такой знаток английского, чтобы так вот взять тогда и прочесть все семь страниц телеграфного текста, со всем его лаконизмом, с его «комма», «стоп», и «стоп-пара». Но в Пубалте нашлись англо-русские словари.

Я сидел над письмом добрых полночи. За окном гроыхало, лампочки то меркли, то разгорались. Была тревога: командиров попросили в убежище. Моя дверь была закрыта, я сидел тихо как мышь; Женю Смирнова — все знали — разбудить угрозой бомбежки невысказанно. К утру я перевел всё.

Его ответ состоял из двух неравноправных частей. Старый больной писатель, едва выкарабкавшись из «брэйкдауна», из тяжелого упадка сил, получив мое письмо, разволновался чрезвычайно. Оно наступало на самые болезненные мозоли его мыслей; оно было «оттуда», из России, оно показывало, что черные опасения и тревожные мысли его известны и понятны в этой стране, которую он так давно любил и ценил.

И видимо, там, в России, его слышат и понимают лучше, чем тут, на родине, — как свободного мыслителя, как великого болельщика за будущее человечества, как поборника вольного содружества вольных народов.

Он не мог в те дни сесть к столу и с обычной своей живостью отклика ответить, сказав от души все, чего я ожидал от него. Но он не мог и промолчать.

Он только что закончил «Феникс» — книгу, в которой в последний раз сделал смотр своим уэллсовским (и барнстэйпловским!) заветным мыслям, свел воедино мрачные предчувствия и робкие надежды. Ему — Кассандре мира, но не его Гектору, пророку, но не бойцу — захотелось воспользоваться моим письмом, как перекинутым над бездной легким тросиком, чтобы с его помощью перетащить через бездну тяжкие блоки его,

уэллсовских, утопических чаяний.

Три четверти своей великанской телеграммы он отвел на изложение той, составленной им в последние годы, «Декларации прав человека как индивидуума и его обязанностей как гражданина», которая все еще казалась ему победой разума, чем-то новым и свежим на пути борьбы за Будущее, которая радовала его и мучила, представляясь то достижением, то просто очередным «прожектом».

А она и не могла стать ничем иным.

Много раз в этом письме он подчеркивал: наши мысли — его, Уэллса, и мои, его корреспондента, — совпадают. Ну что же? Они и впрямь совпадали, где-то в самом зерне, искренним с обеих сторон стремлением к тому, чтобы Будущее стало светлым и прекрасным. Он провозглашал права, которые считали естественными и необходимыми и мы: право каждого человека на жизнь, право любого дитяти на защиту и помощь, «даже если это — сирота»; право каждого члена общества на знание, на труд, на свободное передвижение, на охрану от насилия, равную для всех, одинаковую повсюду, безотносительно к широте и долготе места, к цвету кожи, к интеллекту и социальному положению «индивида».

Все это уже много лет возглашали и мы.

Но если раньше ему казалось, что все эти великие блага — сколько столетий мечтало о них человечество! — могут быть получены им бескровно и безбедно, то ли в тот блаженный миг, когда Земля пройдет сквозь хвост благой кометы и «отравленный» — великолепно отравленный! — его газами человек вдруг станет иным, добрым, бескорыстным, евангельски незлобивым, то ли после того, как над миром пронесется коричневая туча марсианского нашествия и сама Природа спасет его для лучшей жизни, взяв на помощь ничтожнейшие твари, бацилл, — то теперь он вообразил себе, что все эти великолепные «дезидерата» сами по себе, помимо воли людей, классов, государства, созрели на древе жизни и, чтобы они упали и насытили алчущую человеческую Ойкумену, нужен только легчайший порыв ветра... Нужно, чтобы люди — от английского лорда до индокитайского кули — сами захотели стать людьми.

В этом и была невидимая ему разница. Мы утверждали, что на могучее дерево истории нужно взбираться, кровавая руки и ноги, надо обламывать его страшные сучья, не боясь ран, надо сражаться с химерами, живущими в его листве, и тяжким трудом, суровой отвагой, жестокой, может быть, настойчивостью, в смертельной борьбе добыть миру Счастье; а он, фабианец, никак не способный полностью разделаться со сладкими иллюзиями,

все еще призывал нас верить в то, что сладкие пудинги совершенства сами свалятся нам в рот, без драки, без крови и — самое главное — без тех революционных неистовств, какие он с барнстэйпловским ужасом наблюдал в прошлом.

«„Феникс“ говорит совершенно то же, что говорите Вы. Мировая революция уже произошла и только должна быть реализована. Она не может не произойти, если мы все решим, что она должна произойти. Она уже свершилась, и обсуждать тут больше нечего».

И еще:

«Заметьте дальше: мировая революция не подразумевает атаку на какое-нибудь существующее правительство, конституцию, политическую организацию: ведь условия, сделавшие ее неизбежной, сложились на протяжении последних сорока лет, когда эти правительства и организации были уже созданы...»

Видите, как просто? Нужна не вооруженная борьба, нужна пропаганда «Декларации».

«Пусть каждый мужчина и женщина, кто поймет это, приступит сейчас же к формированию пропагандистских кружков. Британский маршал авиации может заставить людей обсуждать права человека. Японский крестьянин может добиться того же точно...»

И когда это произойдет — наступит вожделенная эра Разума и Счастья.

Как цепки в душах даже самых талантливых, самых лучших людей мира, истинных людей доброй воли, их маниловские мечты, их евангельские грезы! А ведь даже тот, о ком говорит Евангелие, твердил: «Я принес вам не мир, а меч!» Нет, британские и американские, французские и немецкие маршалы не только не хотят обсуждать эти права, они и сегодня сбрасывают напалм и фосфор на тех, кто готов эти права отстаивать.

В 1942 году Уэллс еще оставался Уэллсом, фабианцем, возлагавшим все надежды на внутреннюю революцию души, сопряженную с революцией научной и технической.

Сейчас было бы как-то даже неловко публиковать здесь всю эту беспомощную, хотя и благородную по чувствам, часть его письма. Как ни печально, она прозвучала бы словно «Проект о

введении единомыслия» (единомыслия весьма похвального), как розовые грезы Манилова, о которых Гоголь с тихой грустью сказал: «Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними только словами».

У самых больших людей есть свои слабости, и я не хочу выставлять тут напоказ хорошо нам известную фабианскую слабость Уэллса.

Я хочу напечатать здесь только вступительную часть его письма. Это не декларация. Это — живое слово живого человека, семидесятишестилетнего мыслителя и поэта, гражданина мира, ошибавшегося, но искреннего, темпераментного и горячего, ироничного на восьмом десятке лет жизни, как на третьем.

Я получил его письмо именно с таким началом, и я горжусь этим.

«Дорогой командир Успенский, сотоварищ по перу и по нашей общей борьбе за изобильную жизнь всего человечества! У меня нет сейчас возможности ответить на Ваше чудесное письмо. У меня полный упадок сил на почве переутомления, и хотя физическое состояние мое улучшается, я могу писать только понемногу и с трудом.

Ваше знание написанного мною поразительно! Чтобы понять некоторые из Ваших намеков и ссылок, я вынужден был перечитать „Люди как боги“.

Перечитывая свои старые книги, то и дело натыкаешься на опечатки и неудачные выражения. Я никогда не перечитываю самого себя, разве уж когда это совершенно необходимо.

Мне пришлось все же перечесть „Люди как боги“, потому что я начисто забыл все, что касается мисс Гриты Грей. Воспоминания же о мистере Барнстэйпле, как по кабелю, передали мне ту тоску по Утопии, которую оба мы, Вы и я, ощущаем с такой остротой.

Утопия может стать нашим близким будущим, но может отодвинуться от нас и на дистанцию бесчисленных поколений. Перед моим заболеванием я как раз закончил книгу „Феникс“, которую пошлю Вам, как только она выйдет в свет.

Дело в том, что Барнстэйпл вернулся в этот мир преображенным и принес Утопию с собой. Его история как бы предвосхитила то, что случилось со мной самим. В „Фениксе“ я стараюсь показать, что для каждого, кто способен это ощутить, объединение нового мира уже наступило.

Нынешняя война точь-в-точь такова, как та, что кипела вокруг Карантинного Утеса, это война между древними обычаями империалистического насилия, плетворной заразой мертвого национализма и конкуренции, с одной стороны, и светлой

разумностью равноправного всечеловеческого братства — с другой.

В „Фениксе“ говорится в точности так, как и Вы об этом говорите: что мировая революция наступила: ее надо немедленно реализовать. Если все мы осознаем, что это так, так оно и будет. Много ли людей уже понимает это? — вопрос чисто количественный; он должен быть решен арифметически.

В час, когда Революция окончательно свершится, тройной целью ее будет всемирное разоружение, утверждение свободы и достоинства каждой человеческой личности, освобождение Земного шара от частной и государственной экспроприации, с тем чтобы все земли мира использовались только для общечеловеческого блага.

Спорить больше не о чем. Революция должна выполнить свои задачи, пользуясь техникой, созданной в предыдущие годы, и современными способами массового распространения идей.

Чтобы добиться решения этой основной задачи, революция создаст где только возможно образовательные кружки и ячейки. Основным содержанием пропаганды будут права человека, вырастающие на базисе трех главных целей ее.

Эти права опираются на основные требования, предъявляемые Человеком от своего имени и от имени Человечества. Без них на Земле никогда не водворится мир, не наступит век свободы, единства и изобилия.

О каждом правительстве, о каждом, кто стремится стать лидером, о каждом государстве, о любой организации должны будут впредь судить только на основании того, подчиняют ли они свою деятельность задачам Революции: она определит их работу и станет их единственной целью.

Этот важнейший труд по пробуждению Нового Мира надо вести на всех языках Земли. Коммунисты уже сто лет назад проделали во всемирном масштабе такую работу, хотя у них было несравненно меньше возможностей. Сегодня мы должны заново выполнять ее, используя все доступные средства.

Отбросим в сторону громкие имена и самих вождей: основой и существом пропаганды отныне станут права человека, сформулированные во всей их наготе, простоте и ясности.

Вот такой исходный образец для этого предлагаю я...»

Дальше следовал очень длинный, очень подробно разработанный проект «Декларации», о котором я уже говорил, и под ним короткое заключение:

«Когда я пишу это, я не более чем повторяю, подобно эху, Ваши великолепные мысли на своем английском

языке. Я рад этой возможности. Пользуясь Вашим выражением, мы встали плечом к плечу не для того, чтобы разрушать, но для того, чтобы спасти. Вот почему я и подписываюсь тут, как

Братски Ваш во имя достигающей своих вершин всечеловеческой революции во всем мире

Герберт Джордж Уэллс.

Темной осенней ночью — блокадной ночью — я перевел последнее слово. (Этот перевод — он и сейчас передо мной.) Тревога кончилась. Во мраке грохотали только редкие разрывы немецких снарядов, оттуда, от Дудергофа, из-за Лигова. Я сидел и думал.

Он не ответил мне ничего на мое прямое и настойчивое требование, ни слова не сказал, что он думает о втором фронте.

Но разве я был так наивен, чтобы ожидать этого? Тот, кто хотел бы получить такой ответ, должен был написать не Герберту Уэллсу, а Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю, «сыну предыдущего», как его титуловал когда-то всеведущий «Брокгауз и Ефрон». Но навряд ли и Черчилль ответил бы на этот вопрос быстро и прямо.

Нет, я не ждал этого. Я думал — думаю и сейчас, — что честное и откровенное обращение русского литератора к англичанину-писателю в такие дни, на таком пределе мировой напряженности, на таком историческом рубеже, не останется не услышанным в Англии. Я думал, что факт такой переписки, независимо от того, кто писал, но принимая в расчет, к кому он обращался, принадлежит к фактам, которые уже нельзя бывает «вырубить топором» из однажды бывшего. Я думал — тогда мечтая, теперь — в реальной жизни, — что когда говорят о «контактах» представителей двух наших миров, то, вероятно, и такая форма их имеет свой глубокий смысл и свое существенное оправдание.

И кто еще знает — когда, на каком другом историческом повороте, эти два письма могут сыграть свою пусть небольшую и негромкую, но благоприятную для нашего дела роль?

Два «больших дня» состоялись за всю мою долгую жизнь в моем общении с одним из величайших писателей Англии (да и всего мира, если говорить о первой половине нашего века). Тот день, когда на плечи девятилетнего школьника свалился впервые груз его сложного, противоречивого, пленительного и нелегкого таланта, и тот, когда сорокадвухлетний командир Балтфлота увидел его телеграмму на своем столе. Между этими датами

протекла не только большая половина моей жизни, протекли величайшие в истории мира годы.

Я счастлив, что был их современником и свидетелем. Я рад, что сегодня могу открыть перед читателями эту страничку своей личной летописи: в ней отразился огромный мир, огромный век, тот размах гигантских событий, о котором так много думал, который так глубоко переживал, в котором так страстно хотел до конца разобраться «братски наш Герберт Джордж Уэллс».